

Елизавета Николаевна Водовозова

На заре жизни. Том второй



Елизавета Николаевна Водовозова

На заре жизни. Том второй

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22806417

Аннотация

«Через несколько часов после того, как я с великим трепетом в последний раз стояла перед строгим ареопагом институтских экзаменаторов, моя мать везла меня в дом своего родного брата Ивана Степановича Гонецкого и его жены Любовь Дмитриевны. Несколько офицеров, ежедневно обедавших у дядюшки, как у своего полкового командира, и другие гости – дамы и мужчины, все светское, исключительно военное общество – уже садились за стол...»

Содержание

Часть III	4
Глава XIV	4
Глава XV	35
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Елизавета Водовозова

На заре жизни. Том второй

Часть III

Шестидесятые годы

Глава XIV

На воле

Жизнь в доме родственников. – Самостоятельный выезд и полная его неудача

Через несколько часов после того, как я с великим трепетом в последний раз стояла перед строгим ареопагом институтских экзаменаторов, моя мать везла меня в дом своего родного брата Ивана Степановича Гонецкого и его жены Любовь Дмитриевны. Несколько офицеров, ежедневно обедавших у дядюшки, как у своего полкового командира, и другие гости – дамы и мужчины, все светское, исключительно военное общество – уже садились за стол. Меня подводили то к одной, то к другой даме, представляли, что-то говорили, но я ничего не понимала, подавленная и смущенная массой впечатлений. Несколько часов тому назад я еще трепе-

тала за исход последнего экзамена, вынесла разнообразные напутственные речи моего начальства, а теперь я на воле, в первый раз в жизни попала в большое общество. Я делала реверансы часто без нужды, невпопад отвечала «да» и «нет», замечала это сама и еще сильнее конфузилась.

В первый раз сидя за большим обедом не с институтскими подругами, я мучительно раздумывала: «Можно ли съесть весь суп, налитый мне на тарелку, или хороший тон и приличие обязывают оставлять что-нибудь. Не будут ли дрожать у меня руки, когда я начну разрезать жаркое; не опрокину ли я чего-нибудь нечаянно?» Я так опасалась всего этого, что, покончив с супом, наотрез отказалась от дальнейшей еды, хотя весь день у меня ничего не было во рту.

Обед окончен: мужчины уходят курить в кабинет к дяде, дамы отправляются в гостиную. Сердце бьется уже не так тревожно, и я начинаю прислушиваться к разговорам дам. Оживленно болтают о покроях платьев, о модных шляпках. «Как, разве можно говорить теперь о таких пустяках?» – совершенно серьезно спрашиваю я себя.

Новая система обучения в институте, введенная Ушинским, который к тому же сам лично имел громадное влияние на институток, заставила нас в последние полтора года серьезно поработать над своим образованием. Но это дало нам лишь кое-какие элементарные сведения по некоторым отраслям знания, но не могло подготовить к жизни нас, с раннего детства изолированных от нее. Многие идеи шести-

десятих годов, бродившие в обществе, проникали и через наши толстые стены, но большею частью в совершенно искаженном виде, и в нашем мозгу в конце концов образовался какой-то хаос. Я лично вынесла убеждение, что теперь стыдно в обществе вести разговоры о туалетах, что все без исключения заняты ныне разрешением серьезных вопросов, но какие из них можно считать таковыми, я в этом не всегда разбиралась. Не имела я ни малейшего представления и о том круге людей, в среду которых я случайно попала.

Новые мои знакомые, почти исключительно из военного круга, продолжали и в шестидесятые годы свой прежний образ жизни, ничего общего не имевший с идеалами тогдашнего общества. Правда, кое-кто из людей этой среды тоже окунулся в водоворот тогдашней кипучей жизни, но, во всяком случае, таких было крайне мало. Мои же новые знакомые стояли в стороне от общественного движения. До них доносился лишь весьма отдаленный шум бурного потока, который с могучею силою несся по русской земле. До их ушей доходили обыкновенно только курьезы и пошлости, выкидываемые, если можно так назвать, «формалистами движения» этой эпохи, которые только по внешности придерживались идей и стремлений шестидесятых годов. Под их покровом они проделывали вещи нередко весьма безобразные и пошлые, одни – вследствие своего скудоумия, другие – для того, чтобы ловить рыбу в мутной воде. Узнавая только курьезы о последователях новых идей, знакомые моего дяди высмеи-

вали все общественное движение, рассказывали о нем небывалые и представляли все и всех в комическом виде.

К нам в гостиную начали входить мужчины. Подле меня сел один из офицеров и спросил, почему я не принимаю никакого участия в разговоре. Я отвечала, что тут говорят о модах, о которых я не имею никакого понятия, да они меня и не интересуют. При своей экспансивности и наивности я имела глупость прибавить еще:

– Я думала, что услышу рассуждения о литературных произведениях, о правах человека, а тут болтают только о тряпках...

– Не советую вам, *mademoiselle*, идти по этой стезе... Этак, пожалуй, вас скоро увлекут девицы, которые отрезают свои косы, и молодые люди, разгуливающие лохматыми!.. Да-с, теперь молодежь перестает мыться, чесаться и прилично одеваться, и все это чтобы выгадать время для изучения наук!.. Неужели ради этого и вы погубите ваши косы?

В эту минуту к нам вошел дядя и предложил потанцевать. Одна из дам села за рояль, и я весь вечер с увлечением носилась в вальсах и польках. Офицер, который высказал опасение за участь моих кос, заметил мне, что теперь он успокаивается насчет моей будущности: страсть к танцам удержит меня «от неприличного общества экстравагантных лохмачей обоего пола».

Первые недели, проведенные в доме родственников, сонная, однообразная жизнь, пустые разговоры окружающих

все сильнее угнетали меня. Сильно возмущала меня и нравственная сторона этих людей. Я постоянно замечала лицемерие, фальшь и угодничество подчиненных офицеров относительно моих превосходительных родственников, их любезную готовность служить им, выказываемую в их присутствии, и беззастенчивые насмешки над ними за их спиной. Что касается моей тетушки, то она особенно поражала меня своим ничегонеделанием, растительною жизнью, которую она вела, необыкновенною сонливостью и интересами, проявляемыми ею лишь к мелочам.

Это была женщина роста выше среднего, в ту пору лет под сорок, с остатками если не красоты, то миловидности и светского изящества; но ее чрезвычайно портила улыбка, застывшая на губах ее неживленного лица. Она просила меня называть себя не тетя (что она находила вульгарным), а «*ma tante*», была чрезвычайно любезна со мною, но истинной доброты от нее я не видала, – по своей натуре она вообще была к добру и злу совершенно равнодушна.

Когда она приходила в столовую утром, она долго перемывала уже вымытую посуду, а покончив со своими «чайными обязанностями», отправлялась в сопровождении лакея осматривать комнаты; при этом она поднимала с пола и мебели каждую соринку, кусочек ниточки или оброненную булавку и, указывая находку, спрашивала своим обычным спокойным голосом:

– А это что же? Получался ответ:

– Вероятно, маленький барин изволили обронить.

– А на вазе опять грязь? – спрашивала генеральша.

– Да ведь это муха! Разве ее уследишь, треклятую? Где села, там и нагадила!

– Рассуждения о мухе можешь оставить при себе. Все свои замечания тетушка высказывала, не повышая и не понижая тона, без запальчивости и раздражения, но так как ежедневно на нескольких предметах она усматривала что-нибудь, не согласовавшееся с ее понятием об идеальной чистоте и аккуратности, то обыкновенно приказывала по нескольку раз в день подметать добрую половину своей огромной казенной квартиры. Несмотря на то что генеральша держала себя с прислугой без окриков и брани, та ненавидела ее как за придирчивость ко всякой мелочи, так и за требовательность какой-то сверхъестественной чистоты, а еще больше за ужающую скупость. Повар не смел поставить суп на плиту, не доложив ей об этом, и по числу обедающих должен был при ней наливать в кастрюлю известное количество кружек воды. В ее комодах, в разных узелках и мешочках хранились самые крошечные обрезки материй и полотна. Когда приходилось чинить белье или платье детям, генеральша, прежде чем выдать горничной лоскуток, долго приноравливала его к дырке, чтобы не дать обрезок чуть-чуть больше того, чем было нужно. Если кто из прислуги жил в ее доме подолгу, то только благодаря ее супругу, которого домашние служащие очень любили.

Вспыльчивый, крикливый и шумливый генерал был по натуре жалостливым и добрым человеком. После вспышки гнева, во время которой он осыпал провинившегося, а иногда и невинного, отборного русскою бранью, он то и дело потихоньку совал обиженному им рублевку или трешницу, но под условием не сметь пикнуть об этом генеральше.

Обзор комнат так утомлял пользующуюся неизменно превосходным здоровьем генеральшу, что она часа за полтора до утреннего завтрака ложилась отдохнуть. Добросовестно выполнив обязанности хозяйки дома, она немедленно засыпала так крепко, что ее приходилось долго будить каждый раз, когда кушанье было подано. Ее способность спать долго и много была просто изумительна. Так же крепко спала она и перед обедом, и перед вечерним чаем, и этот троекратный отдых днем при совершенном отсутствии физической и умственной деятельности совсем не мешал ее крепкому сну по ночам. Если приезд гостей или выезд с визитами выбивал ее из обычной колеи, она наверстывала свой сон, ложась в постель тотчас после вечернего чая, и тогда уже спала до следующего дня по тринадцать и четырнадцать часов сряду.

Ее супруг обладал живым темпераментом и отличался противоположными свойствами. При деятельной натуре, его, видимо, поражала в жене ее необыкновенная склонность ко сну, и он вечно подтрунивал над нею. Когда она заспанная выходила к вечернему чаю, он, сдерживая свою смешливость, говорил: «Сегодня, кажется, было особенно

сладкое „до“, но, может быть, это было „по“?» («до» и «по» он называл привычку жены спать *до* и *после* еды). Этого было совершенно достаточно, чтобы прогнать с глаз генеральши последние остатки сна. Она, по собственному признанию, никогда не испытывала к кому бы то ни было ни страстной любви, ни ненависти; ее кровь всегда спокойно переливалась в жилах, но эта насмешка мужа выводила ее из себя и волновала до такой степени, что ложки и стаканы, которые она перетирала, звенели в ее руках. Она бросала на мужа взгляд презрительной укоризны и отвечала своим спокойным голосом: «Да, я заснула». Но генерал уже не мог сдерживаться: он фыркал так, что чай брызгал у него изо рта.

– Вместо того чтобы делать совсем неподходящие замечания другим, вам бы давно следовало выучиться, пить чай поприличнее... – холодно отчеканивала генеральша.

– Из-за чего же тут обижаться, мой друг? Уверяю тебя... я всегда изумляюсь твоему постоянству и выдержке. Если, например, солдат перед сражением...

– Потрудитесь передать солдату то, что ему нужно знать, а меня прошу уволить! – И она гордо и не торопясь выходила из столовой.

За нею быстро бежал генерал, упрашивая ее не сердиться, но, когда возвращался в столовую, еще долго сморкался и кашлял, подавляя смех, снова и снова душивший его.

Обед и завтрак для генеральши – самое напряженное время: трое ее детей (два мальчика и девочка) вбегали тогда в

столовую в сопровождении бонны. Их неугомонность, шаловливость, непоседливость, перескакивание с места на место повергали их мать в отчаяние. Но она и на них не кричала, не давала им эпитетов «болванов», которыми нередко осыпал их отец, не грозила им, как он, «розгачами» и «березовой кашей», но отстраняла их руки, хватавшие со стола все, что попадалось, и с мукою в голосе произносила: «Разве это прилично?»»

После завтрака, если она не выезжала с визитом, она садилась за работу: починка лопнувших швов на лайковых перчатках и пришивка к ним пуговок были ее единственным рукоделием. В такое время она приглашала меня поболтать с нею до наступления ее предобеденного сна, но затем решила утилизировать этот час с большею пользою и просила меня читать детям народные сказки, говоря, что знакомство с народным языком, как она слыхала, считается теперь необходимым. Один из офицеров по ее просьбе принес какой-то сборник для учащихся, и я начала читать одну из сказок, но, как только попадалось какое-нибудь выражение вроде «простофиля», «дурачина», «бесы», «черти», тетушка приходила в ужас, находя их крайне вульгарными. Она просила меня заменить эту книгу Кольцовым, но, когда я прочла несколько его стихотворений, она вознегодовала еще более. «Какую пользу, – рассуждала она, – может принести знание таких мужицких выражений, как „раззудись, плечо“, „горит горма“, „старый хрен заупрямился“? Речь образованного человека

всегда должна отличаться отсутствием грубых выражений!» Относительно стихотворения «Дума сокола» она заметила: «Какая глупая мысль идти куда глаза глядят! Это, конечно, понравится детям, но им необходимо внушить стремление, обратное тому, что проповедует Кольцов. Люди должны отдавать себе отчет в том, что делают, а не идти куда глаза глядят!»

Когда Кольцова я заменила сказками Пушкина, от тетушки досталось и последнему.

Я спросила ее, неужели раньше она не читала ни Пушкина, ни Кольцова и не училась русской литературе? Она отвечала, что, конечно, училась, даже множество стихотворений Пушкина у нее переписаны в альбомчике, но что все эти пустишки у нее, слава богу, давно испарились из головы.

Постоянно выслушивая жалобы тетушки на то, как для нее утомительны и несносны визиты, вечера, театры, гости, званые обеды, я с удивлением спрашивала, кто ее вынуждает ко всему этому.

– Положение мужа... Наконец, все так живут! Если бы я могла делать то, что хочу, я никогда не вставала бы с своей софы.

Первое время меня сильно интересовала тетушка, как особа без каких бы то ни было личных желаний, вкусов, интересов, самых элементарных человеческих требований, даже без стремления к простому движению, пока я не поняла, что она всецело принадлежит к растительному миру.

– Почему вы не выберете себе знакомых по вашему вкусу, из людей, которые не стесняли бы вас?

Она просто отвечала:

– Разве не все равно, один или другой? Мне и в молодости было решительно все равно, кто будет нас посещать – те или другие знакомые, лишь бы это были люди приличные!

– А театры? Неужели и они не доставляют вам удовольствия?

– Конечно, театры несколько развлекают, но ведь и для них необходимы сборы: одеваться, ходить по лестницам, ехать. Во всяком случае, никакое представление не увлекало меня так, как тебя. Ты ведь голову теряешь в театре: перевешиваешься через барьер, плачешь, смеешься! У меня и в ранней молодости никогда не было такой экзальтации, да ее и не может быть там, где девушек воспитывают надлежащим образом.

На мое замечание, что она проповедует такой индифферентизм ко всему на свете, точно сама разочаровалась во всем, тетушка очень посмеялась над моею наивностью.

– Благодаря разумному воспитанию, – возразила она, – меня не допускали до восторгов, и я в большом выигрыше: не испытала в жизни никаких разочарований. В прежние времена девушки, небрежно воспитанные, мечтали при луне, но, по крайней мере, от этого им не было ни тепло ни холодно... Ну, а теперь это кончается более трагично: они волнуются, кипятятся, влюбляются в кого попало, даже в таких

бедняков, которые не могут прокормить семьи. О мое дитя, пожалуйста, подумай об этом... Только в глупых и очень вредных романах можно проводить мысль, что с милым рай и в шалаше! В действительности же мечты о шалаше испаряются очень скоро, и наступает период разочарования, а еще чаще злобы ко всему, кто лучше одет, кто катается в хорошем экипаже! Вот почему эти несчастные смотрят на нас, как на бездушных созданий! Уверяю тебя, все это из зависти... Помни, дитя, что Даже для того, чтобы делать добро, как проповедают писатели, необходимо быть богатой.

Обычные посетители дома моих родственников мало интересовали меня и были для меня весьма несимпатичны. Как, уже было сказано выше, у дяди, как у полкового командира, ежедневно обедало несколько офицеров его полка. Как-то пришли они немного раньше обеденного часа, и лакей, вводя их в столовую и не зная, что мы с тетушкой уже возвратились с прогулки, сказал им, что нас не было дома, а между тем мы сидели в комнате, соседней со столовой, и слышали разговор офицеров между собой. Один из них передавал другому о том, что однажды видел, как «скарреда» (он так честил тетушку) собирала после гостей остатки фруктов в особую корзину и сливала недопитое вино, дополняя им начатые бутылки. Другой рассказывал о том, какое страдание выражается на ее «каменном лице», когда ей приходится класть сахар в стаканы гостям. Тетушка при этом вспыхнула и головой показала мне на дверь. Мы встали и

тихо вышли в другую комнату.

Пораженная поведением ее гостей-завсегдатаев, я с возмущением громила их за лицемерие и фальшь, но тетушка остановила меня словами: «C'est la vie!»¹ Когда мы сели за обед, она обращалась с офицерами, только что ужасно отзы-вавшимися о ней, с своею обычною вежливостью, предупредительностью и любезностью. Я уверена, что об этом инциденте она не рассказала своему мужу, потому что тот и сам частенько конфузился ее скарденности.

Дядюшка своею природного живостью, простотою и искреннею добротою ко мне нравился мне несравненно более своей «каменной супруги», но и он своими рассказами, шутками и прибаутками во время наших продолжительных обедов повергал меня в отчаянное смущение. Когда анекдот достигал до апогея скабрёзности, тетушка прерывала увлекшегося супруга словами, которые она почему-то всегда находила необходимым сказать по-французски: «Прекратите же наконец! Ведь ваша племянница – молодая девушка!» Дядюшка все-таки оканчивал начатое, но уже в сокращенном виде, сопровождая некоторые слова хохотом и фырканьем. Присутствующие вторили смеху его превосходительства. Я обыкновенно не понимала, в чем была тут соль, впрочем, соли, вероятно, и не было, а была только одна сальность. Я по крайней мере чувствовала лишь то, что в повествовании дядюшки было что-то грязное, чего не следовало рассказывать.

¹ Такова жизнь! (*фр.*).

Но нередко и те рассказы, в которых не было скабрёзности, возмущали меня до глубины души.

– Вчера приходит ко мне с докладом солдат моего полка, – ораторствует он. – А я уже кое-что слышал о нем. Он, видите ли, не то какой-то отщепенец, не то старовер или раскольник: уж и не знаю, как там называются у них все эти благоглупости. Как только я его увидел, так и вспомнил эту его чепуху, и меня так и взорвало! Выслушал доклад и спрашиваю: «А как крестишься?» Молчит. «Не слышал разве, болван, что у тебя спрашивают?» И вдруг, как вы думаете, этот солдат, который всегда был на прекрасном счету, нагло вытягивает передо мной два пальца. «А третий, где третий палец, скотина?» Меня это окончательно взбесило... я его так ткнул, что он покатился с лестницы и с верхней площадки до нижней все ступеньки пересчитал! Ну, и затем ему от меня еще порядочно-таки досталось!..

– Héros impertinent!² – ударив его по руке веером, кокетливо произнесла его соседка.

– О да... вы действительно истинный защитник нашей православной религии и нашей святой родины! – щebetала другая.

– Вы, дамы, рады преувеличивать наши заслуги! – отшучивался дядюшка.

Он строго распекал каждого кадета, каждого встречного военного, если тот не отдавал ему чести по самому строго-

² Дерзновенный герой! (*фр.*).

му кодексу военных правил. Но застигнутый им врасплох мог несколько смягчить его сердце, если тут же усердно извинялся, призывал бога в свидетели, что не заметил генерала, при этом то и дело прикладывал руку к козырьку, пожирал глазами его превосходительство и всей фигурой изображал страх, почтение и раскаяние. Дядюшка старался выискать малейшее упущение в форме и поведении военного, но не по злобе, которою не отличался, не по честолюбию, которым не страдал, а только потому, что глубоко был убежден в том, что самое ничтожное отступление от дисциплины, как червь, подтачивает все устои и основы русского государства и внедряет в умы подчиненных опасное шатание мысли.

Миросозерцание дядюшки не отличалось ни глубиной, ни сложностью: образ правления, нравы, обычаи, одним словом, все, что было на Западе, он находил глупым, пошлым и смешным, а что было в России – превосходным и трогательным. Вследствие этого он свирепо осуждал всех, кто ездил за границу. Если туда отправлялись лечиться, он считал это идиотством: по его мнению, у нас существуют лечебные местности лучше, а не хуже заграничных; осуждал и тех, кто ехал за границу, чтобы пожить среди красивой природы, – он находил, что у нас на Кавказе и в Крыму такие чудные места, каких не существует нигде на свете, а тех, кто в западные столицы ездил запасаться туалетами, он считал настоящими преступниками против родины, лоботрясами и пошлыми форунами, так как они в таких случаях, по его

мнению, поощряли западноевропейскую промышленность в ущерб родной, русской.

Однажды он отправился со мной в магазин игрушек и потребовал игрушечную мебель. Когда она была ему подана, он заметил торговцу, что цена несообразно высока, а тот оправдывался тем, что это вещи парижские, хотя и дорогие, но зато превосходной работы.

– Молчать, дубина! – загремел генерал. – Значит, по-твоему, все русское дрянь? Если ты родину любишь и порядочный торговец, ты должен был бы держать только свое, русское.

Ему подают дешевые русские игрушки, но он находит их негодными, и перед ним снова раскрывают ящик с французскими изделиями, не указывая на штампель. Он одобряет их, платит деньги и уходит. Дома, развернув покупку, он находит французское клеймо, раздражается ругательствами, дает слово возвратить купленное, но затем, махнув рукой, дарит игрушки детям.

Будучи по натуре добрым, даже мягкосердечным и участливым, он проявлял эти качества лишь в семейной, обыденной жизни, но был до невероятности жесток, когда дело касалось людей, уличенных в политической неблагонадежности. Он готов был помогать и великодушно помогал каждому бедняку, которого встречал, но, избавляя от нищеты ты одного, он мог тут же изувечить другого, унижить и насмеяться над его человеческим достоинством, если только тот не испове-

довал его допотопных идеалов, служения православию, самодержавию и народности, не разделял его упрощенной обывательской морали.

Особенную ненависть и презрение вызывали в нем политические преступники. Какую бы жестокою кару ни несли они за свои поступки, он всегда обвинял правительство в слишком большом снисхождении к ним, находил, что если бы он лично взялся за истребление «этой шайки отъявленных негодяев и величайших в России преступников», их бы через месяц-другой не осталось и следа.

– Вы говорите, что этих голоштанников, этих шутов гороховых будут судить? – спрашивал он, когда услышал об одном политическом процессе. – Удивительно, как не понимают того, что такое отношение слишком большая честь для них! Каждому, кто уличен в политической неблагонадежности, прежде всего следует всыпать горячих розгачей, а тех из них, кто посмелее кричит о братстве, равенстве, свободе и о другом в таком же роде бессмысленном вздоре, отодрать шпицрутенами! – Дядюшка был искренно убежден в том, что, если к людям политически неблагонадежным была бы применена подобная мера, все политические преступления исчезнут с лица русской земли, как по мановению волшебного жезла.

Он неумоимо заботился о благосостоянии солдат, но как к ним, так и ко всем подчиненным был чрезвычайно требователен и жестоко карал за малейшее нарушение дисципли-

ны. Человек он был малообразованный и совсем неначитанный: получив лишь плохое корпусное образование, он никогда не пополнял его. Он часто усматривал потрясение государственных основ там, где их не было и следа, иногда открывал их в самом легком нарушении правил военной службы, а в гражданской жизни – в устном или печатном выражении либеральных мнений.

Добросовестный, строго исполнительный по службе, генерал Гонецкий всеми фибрами своего существа был преданным рабом самодержавия и служил верою, правдою и своею кровью всем трем монархам, в царствование которых он жил. Без колебаний и страха он всегда готов был отдать свою жизнь за каждого из них, и ни в больших, ни в малых чинах никогда не прибегал к лести перед сильными мира: своим быстрым повышением по службе он был обязан исключительно своей необыкновенной храбрости и безукоризненному исполнению своих обязанностей. И в молодости, и на старости лет, уже в самом высоком положении, он держал себя чрезвычайно просто со всеми и гордился тем, что всем «режет в глаза правду-матку». И это было вполне справедливо: в его преданности царю было много прямоты и безукоризненной честности, что особенно подтверждает один оригинальный инцидент, случившийся с ним несколько позднее описываемого мною времени и рассказанный им самим мне и моему мужу под величайшим секретом через несколько лет после «происшествия».

Когда после умирения польского восстания 1863 года, во время которого генерал Гонецкий отличился, он явился во дворец по поводу назначения ему значительной награды, у императора Александра II находился в эту минуту его брат, великий князь Константин Николаевич.

В известном кругу русского общества существовал в это время убеждение, что польский мятеж вспыхнул вследствие того, что русские власти мирволили полякам и что тон этой опасной для России миролюбивой политике давал не кто иной, как наместник Царства Польского великий князь Константин Николаевич.

Известно, что великий князь Константин Николаевич имел большое влияние на дела государства (в период 1856–1862 годов) и стоял во главе прогрессивной партии правительства, между тем Иван Степанович Гонецкий был диким консерватором и всю жизнь придерживался совершенно противоположных взглядов. Уже одно это давало возможности Ивану Степановичу относиться к брату государя с таким же благоговением и любовью, с какими он относился ко всем остальным членам царской фамилии. Когда же в известной части общества стали осуждать великого князя Константина Николаевича за то, что он мирволил полякам, верноподданническое сердце Ивана Степановича вскипело негодованием.

Великий князь Константин Николаевич не мог, конечно, ожидать проявления враждебных чувств к себе от такого че-

ловека, как генерал Гонецкий, который прославился своею неподкупною, беспредельною преданностью царю и его семейству; проходя через приемную и заметив в ней генерала, он сказал радушно: «А, Гонецкий» и протянул ему руку. Вместо того чтобы пожать протянутую руку, Иван Степанович заложил свои руки за спину со словами: «Врагу моего государя и отечества руки подать не могу!» Пораженный этими словами, великий князь бросился в кабинет своего брата, с которым и вышел в приемную через несколько минут. Взбешенный государь закричал Ивану Степановичу, что еще не было примера такой неслыханной дерзости, нанесенной в его собственном доме самому близкому члену его семьи.

Таким образом, мой дядя хотя и был рабом своего государя, но не корыстным, вероломным и лукавым, какими обыкновенно бывают рабы, а честным, преисполненным искренней любви, готовым пролить за царя и отечество всю кровь до последней капли.

Хотя, благодаря доброте и вниманию ко мне дяди, мне удавалось довольно часто посещать оперу и драматические представления, но общество, окружавшее меня, все более претило мне, и я рвалась в круг людей трудящихся, как это настойчиво советовал мне Ушинский, мнением которого я особенно дорожила, но ни в тот момент, ни в ближайшем будущем не видела возможности попасть в него и посещать лекции, бывшие тогда в большом ходу. Моя мать, занятая своими делами и исполнением разнообразных провинциаль-

ных поручений, редко могла сидеть дома. Она не прочь была пускать меня одну, но, когда она однажды высказала это, тетушка ясно и определенно заявила ей, что она считает крайне неприличным для меня, как для молоденькой девушки, выезжать без провожатой, и притом на извозчике. Моя мать убеждала ее, что через месяца два-три, когда я приеду домой, она все равно предоставит мне полную свободу, так как не имеет средств ни нанимать для меня компаньенок, ни держать карету. Тетушка доказывала, что тогда будет другое дело, – она, как мать, может делать со мной, что ей угодно, а теперь, когда вся ответственность за меня лежит на ней, моей тетушке, в доме которой я живу, она убедительно просит отнюдь этого не делать. Матушка дала ей слово вполне подчиняться ее желанию. Но тут же, заметив мое огорчение, тетушка начала утешать меня, давая торжественное обещание, что, если я захочу посещать моих институтских подруг, ее бонна и карета всегда будут к моим услугам.

Однако со стороны тетушки это была одна словесность: бонна постоянно нужна была ее детям, карета всегда была занята, а если освобождалась, то оказывалось, что лошади были утомлены. Матушка тоже скоро убедилась в том, что я не могу рассчитывать на обещания тетушки, тем не менее, когда разговор заходил об этом, она каждый раз подтверждала, что я с своей стороны не имею ни малейшего права нарушить слово, данное тетушке, так как мы обе живем на ее полном иждивении. Это каждый раз вызывало во мне краску

стыда и негодования.

– Конечно, вы правы, я должна слепо повиноваться ее распоряжениям, так как ем ее хлеб! Как ужасно быть такою жалкою и несамостоятельною! – говорила я с отчаянием. Матушка сильно подсмеивалась над тем, что я думаю о самостоятельности уже через несколько дней после выхода из института.

Однажды после завтрака кроме меня никого не осталось дома: дядя и тетушка отправились с визитами, чтобы затем ехать на званый обед; моя мать тоже куда-то уехала и должна была возвратиться только к шести часам. После их отъезда я стала расхаживать по анфиладе огромных пустых зал, роскошно обставленных дорогою мебелью. Был холодный, морозный день; еще стояла санная дорога, но солнышко заманчиво и ярко светило в огромные зеркальные стекла окон, выходивших на набережную. У меня сжалось сердце при мысли, что хотя я на воле, но сижу взаперти еще при более печальных условиях, чем даже в институте: там были хотя подруги, а тут ни души, с кем можно было бы перекинуться словом. Вдруг я заметила у наших окон извозчиков, когда в сани одного из них садилась какая-то дама. У меня мелькнула мысль, что я могла бы съездить к моей любимой подруге, которая была в институте экстерной и занимала с своею теткою особое помещение на вдовьей половине Смольного.

«Как приятно, – думала я, – прокатиться в такую чудную погоду и поболтать с подругой!» Эта мысль так овладела

мною, что больше я уже ничего не соображала; надеть пальто и шляпу было делом одной минуты, и я очутилась на набережной; я вскочила в первые попавшие сани и приказала везти себя в Смольный. Как это ни невероятно, но, тотчас после выхода из института, я не имела ни малейшего представления о том, что прежде всего следует условиться с извозчиком о цене, не знала, что ему необходимо платить за проезд, и у меня не существовало даже портмоне.

На Николаевском мосту скопилось много экипажей, и мой извозчик поплелся шагом. Вдруг ко мне вплотную подошел какой-то оборванный мастеровой, от которого несло водочным перегаром, и что-то заговорил, размахивая руками прямо в лицо. Это так меня испугало, что я начала кричать во все горло. В эту минуту мы переезжали мост, и только что повернули на левую сторону набережной, как передо мною, точно из земли, вырос офицер с лошадиным лицом, тот самый, который так нелестно отзывался о моей тетушке.

– Стой! – закричал он моему извозчику и обратился ко мне. – Как, вы не в карете? И без *dame de compagnie*?³ Куда вы отправляетесь? – властно допрашивал он.

– Я вам не обязана отчетом! И вы не смеете в таком тоне разговаривать со мной!

– А!.. Значит, вы устраиваете это *en cachette*!..⁴ Просто-напросто убежали без дозволения старших, потому что ваши

³ Здесь: без сопровождающей (*фр.*).

⁴ тайком (*фр.*).

сегодня уехали! Сейчас... сию минуту... извольте вылезать из саней!.. я вас провожу до дому.

– Как вы смеете мне приказывать? Дрянной, противный человек!

– А, так вот вы как! Прекрасно! Все это будет доложено и вашему дядюшке, и вашей тетушке. Очень порадуете ваших родственников, которые так бесконечно добры к вам!

– Уж никак не вам это говорить! Вы даже не понимаете всей низости предательства!

Покраснев до ушей, офицер резко отошел от моих саней.

Отделавшись от него, я ехала уже далеко не в радужном настроении: меня охватывал страх, что вот-вот ко мне опять кто-нибудь подойдет. Моя тревога еще более усилилась, когда я вдруг вспомнила, что нарушила слово, данное матери и тетушке, и что за это мне придется вынести множество неприятностей.

Но вот я у подъезда института: отстегиваю полость и направляюсь в коридор: чтобы проникнуть в одну из комнат какой-нибудь жилицы вдовьего дома при Смольном, нужно было перейти множество бесконечных и длинейших коридоров. Вдруг я услышала за собой неистовый крик моего возницы: «Деньги, что же деньги?» А затем ряд ругательств, которые он посылал мне вдогонку. «Господи! Как он бесцеремонно требует у меня денег! Значит, он простой разбойник и решил ограбить меня среди белого дня!.. Наверно, сейчас бросится на меня!» И я опрометью побежала дальше. При

повороте коридора я столкнулась с Луизою Карловною, добрейшим немецким существом, теткою моей подруги, которую я приехала навестить. С бьющимся сердцем, едва переводя дыхание, я впопыхах, бестолково передавала ей о том, как извозчик хотел меня ограбить. Она ничего не понимала. Подошел и извозчик. Страх нападения при третьем лице не беспокоил меня, и я смело начала обличать его в разбойнических намерениях.

– Подумайте, сударыня, – перебил меня извозчик, обращаясь к Луизе Карловне, – села она со мной с Пятнадцатой линии, не рядилась, думаю, что ж, настоящая барышня, пожалуй, трешницу даст. Весь город проехали, а она как деньги платить – прочь бежать! Ишь ты, думаю, не дам смазурить, лошадь бросил, чтобы, значит, нагнать ее.

Луиза Карловна поняла наконец, в чем дело:

– Я заплачу тебе... барышня ничего не понимает...

– Я тоже смекаю: не то она придурковата, не то блажная какая... На дороге из-за пьяного на всю улицу орала, а тут еще какой-то офицер повстречался, так тот прямо из саней хотел ее высадить: видно, из-за придурковатости такую бо-язно из дому пускать!.. Так ведь она-то так кричать на него зачала, что тот и отступился.

Я чуть не разрыдалась от этих новых оскорбления. Наконец мы вошли в комнату и уселись. Луиза Карловна спросила у меня о том, как могла я вообразить, что извозчик повезет меня даром.

– Я думала, что извозчики представляют своего рода общественное учреждение, которым желающие пользуются бесплатно.

– А вы знаете какие-нибудь такие учреждения?

Мне пришло в голову, что таким общественным учреждением может считаться колодезь: никто не спрашивает, когда берут из него воду. И я высказала это Луизе Карловне.

– Если в вашей деревне имеется колодезь, то он, вероятно, был, устроен на деньги вашей матери. Разумеется, ваши рабочие и служащие брали из него воду бесплатно, но другие, конечно, должны были спрашивать позволения.

«Правда, тысячу раз правда! – думала я. – Ведь живя в деревне, я это прекрасно понимала, но как-то все это пере-забыла за время своего институтского воспитания...»

Когда мне пришлось возвращаться домой, заботливая Луиза Карловна приказала нанять для меня извозчика, записала номер пролетки, засунула мне за перчатку мелкие деньги, которые я должна была заплатить за проезд, но провожать меня домой было некому.

Совсем не сладкой показалась мне моя самостоятельность: меня тревожила предстоящая сцена с родными за самовольную отлучку, но еще более охватывал ужас при мысли о моей неподготовленности к жизни. И я тут же начала припоминать свои промахи и бестактности за время моей двухнедельной свободной жизни. Я не знала, в чем собственно, они проявлялись, но признавала таковыми все то, что при

моих словах давало повод присутствующим то улыбнуться, то с удивлением взглянуть на меня, то смеющимися глазами подмигнуть на меня соседу, а все эти мелочи я умела хорошо наблюдать. Теперь все это приходило мне в голову и повергало меня в настоящее отчаяние. Мучило меня и то, что в простой обыденной жизни я то и дело не знала, как поступить, не умела отличить мелочного от важного. Я вполне сознавала, что деньги, уплаченные за мой проезд Луизою Карловною, должна будет заплатить моя мать, но я не знала, имела ли я право без предварительного ее разрешения тратить деньги на свои удовольствия, наконец, как считать израсходованную мною сумму – большою или малою, не слишком ли ощутительна будет эта затрата для моей матери, или такие деньги считаются пустяками?

Когда я подробно изложила матери все происшествия моей поездки, она заметила, что все это она сама передаст родным, что лично она не очень строго отнеслась бы к содеянному мною отчасти потому, что в молодости все бывают легкомысленны, к тому же я сама достаточно намучилась за все это. Тут мы услышали голоса наших в вестибюле, и я убежала к себе.

– Вероятно, все обошлось бы благополучно, – сказала моя мать, входя в нашу комнату, – но мне пришлось удалиться: к брату пришел рыжий офицер, который угрожал донести на тебя, что, конечно, и приводит теперь в исполнение.

Наконец к нам вошел и дядюшка: он молча встал передо

мною в свою излюбленную позу, в какой он имел обыкновение произносить длинные речи:

– Ну-с, милая племянница! В этой истории прежде всего скверно то, что ты нарушила приказание, данное тебе женою и соблюдать которое ты дала слово. Твоя мать часто не соглашается со взглядами жены на все эти ваши женские коммифотности... Вероятно, в этом ты и черпаешь оправдание твоему дерзкому, своевольному поведению! Повторяю, когда ты приедешь домой, ты будешь поступать так, как этого желает твоя мать, тут же ты будешь делать только то, что требует от тебя твоя тетушка. Хотя я мало понимаю в ваших женских коммифотностях, но вижу, насколько была права жена, запрещая тебе самостоятельные выезды. Приятно было тебе, когда какой-то пропойца, размахивая грязными ручищами перед твоим носом, обдавал тебя сивухой? А ведь могло бы быть и гораздо хуже: в Другой раз, когда ты опять задумаешь насладиться самостоятельностью, такой оборванец вскочит к тебе в сани с выпученными глазами, чмокнет тебя прямо в губы, выбросит тебя из саней, потащит по снегу, осыпая колотушками и площадными ругательствами...

– Ах, братец, да что же вы это запугиваете бедную девочку! Ведь ничего такого не бывает и не может быть! – прервала его матушка, заметив, что я от страха трясусь как осиновый лист.

– Вот видишь ли, сестра, сама ты не умеешь сделать никакого наставления и мне мешаешь! У вас там в провинции, где

все знают друг друга, может быть, этого и не бывает, а здесь легко может случиться кое-что и похуже с такой девчонкой, у которой на лице написано, что она ничего не понимает. (Он называл мою мать «сестра» и «ты», а она его «вы» и «братец».) Ведь вот я начал как следует, – говорил он, обращаясь к матери укоризненно, – а ты меня перебила... я даже забыл, на чем остановился. На так слушай, сестра, что я тебе скажу: ты ведь не имевши понятия, почему твоя дочь устроила эту самостоятельную поездку, а я прекрасно знаю, откуда это у нее. Смольный институт наводнили новыми учителями. Эти дуrolомы и нажужжали девочкам в уши о самостоятельности, о сближении с народом... Ну-с, милая племянница, теперь ты сблизилась с народом, можешь, кажется, понять, насколько это приятно для порядочной девушки! А сейчас я хочу поговорить с тобой о вещах еще более серьезных. Скажи, как ты смела так нагло, так заносчиво и дерзко держать себя с Иваном Ивановичем, с этим во всех отношениях прекраснейшим и достойнейшим офицером?

– Дядя, дорогой, умоляю вас, скажите мне, неужели если бы вы были на месте этого офицера, вы стали бы доносить родственникам на молодую девушку? Нет, нет, дядюшечка дорогой, вы никогда не запятнали бы себя этим! Вы, конечно, строго пожурили бы виновную, но наушничать на нее, ябедничать, доносить никогда не позволили бы себе!

При моих словах дядю передернуло от брезгливости: в житейских делах он был человеком малосообразительным,

и, вероятно, ему не приходила в голову обратная сторона поступка его офицера. Он с минуту молчал, вероятно обдумывая, как бы с честью вывернуться из истории, принимавшей неожиданный для него оборот.

– Видишь ли, моя милейшая, но дерзкая на язык племянница... Ты прежде всего должна молчать, когда старшие с тобой разговаривают. К сожалению, тебе даже и этого не сумели внушить твои гениальные учителя. Знаешь ли ты, почему надо повиноваться старшим? По обыкновению, не знаешь! И это опять я должен тебе объяснять. Так слушай же: повиноваться старшим необходимо уже для того, чтобы впоследствии повелевать другими...

– Да мне же никогда не придется повелевать. Не буду же я, как вы, дядюшечка, полковым командиром или каким-нибудь начальником?

– Нужно отдать тебе справедливость: ты пренесноснейшее создание, и язык твой – враг твой! В царствование блаженной памяти императрицы Елизаветы Петровны тебе бы его отрезали! Да, весьма печальны, мой друг, результаты твоего воспитания! Держу пари, что ты не понимаешь даже, кого ты должна представлять в данную минуту. Не знаешь, конечно, говори же?

– Как это представлять, дядюшечка? Я никого не представляю... – отвечала я в полном недоумении.

– Я так и знал, что ты и этого не понимаешь! Так изволь же запомнить, что ты в данную минуту не кто другой, как обви-

няемая, обязанность которой *только* отвечать на вопросы. А кто я в данную минуту для тебя? Ты, конечно, воображаешь, что я твой дядя! Но так ты думаешь только по своей глупости и полному невежеству! Я в эту минуту для тебя *только* твой судья, и он один может задавать вопросы обвиняемой. Кажется, я все достаточно тебе выяснил, а теперь марш к тетушке и хорошенько извинись за все неприятности, которые ты ей наделала.

Выслушав и от тетушки то же самое, но в иной редакции, я возвращалась в свою комнату с твердым намерением умолять мою мать немедленно уехать домой: мне казалось, что я становлюсь в тягость моим родственникам и что для меня жизнь в их доме представляла не интерес, а лишь одно огорчение.

Глава XV

Среди петербургской молодежи шестидесятых годов

Первое знакомство с людьми молодого поколения. – Вечеринка у «сестер». – Рассуждения, споры, пререкания, взгляды на художественные произведения и искусство, на государственную службу, брак и любовь. – Пение, чтение и танцы⁵

Шестидесятые годы можно назвать весной нашей жизни, эпохой расцвета духовных сил и общественных идеалов, временем горячих стремлений к свету и к новой, неизведанной еще общественной деятельности. Чтобы дать наглядное представление об этом периоде нашей жизни, необходимо познакомить не только со всеми реформами того времени и с влиянием их на общество, но и с идеями, которые бурным потоком пронесли тогда по градам и весям нашего отечества и энергично будили от вековой спячки. Но для полного понимания шестидесятых годов и этого еще мало: необходимо знать, как начал складываться новый порядок вещей, как

⁵ Мои первые знакомства с «новыми людьми», посещения вечеринок, разговоры, споры, речи, слышанные мною в то время, я подробно описывала моей сестре, жившей в провинции. После ее смерти я нашла у нее мои письма и пользуюсь ими, как материалом для моих воспоминаний о молодежи шестидесятых годов. (Примеч. Е. П. Водовозовой.)

распадались некоторые старые формы жизни и постепенно создавались иные основы общественности, вырабатывались новые принципы, как охватило русских людей лихорадочное движение вперед, как страстно стремилась молодежь к самообразованию и просвещению народа, какую непреклонную решимость выражала она, чтобы сразу стряхнуть с себя ветхого человека, зажить новою жизнью и сделать счастливыми всех нуждающихся и обремененных. Такое небывалое до тех пор стремление общества к нравственному и умственному обновлению имело громадное влияние на изменение всего миросозерцания русских людей, а вместе с тем и на многие явления жизни, на отношение одного класса общества к другому. Всесторонне представить великую эпоху нашего возрождения – задача грандиозная. Моя цель гораздо скромнее. В своих очерках я буду описывать только тол чему была сама свидетельницею, указывая все то новое, что вносило в жизнь молодое поколение, но не скрывая и его слабых сторон.

Идеи шестидесятых годов давным-давно всосались в плоть и кровь русского культурного человека, но многое, о чем тогда горячо спорили, чего добивались с огромными усилиями, теперь представляется наивным, элементарным, а подчас и комичным.

Скучая до невероятности в доме родственников, я со всею страстью молодости мечтала познакомиться с кем-нибудь из «новых людей». Я приходила в отчаяние, что скоро мне придется уехать из Петербурга, а я так и не составлю себе о них

ни малейшего представления.

Но моя мечта скоро осуществилась. Недели через две после моего выхода из института, в половине февраля того же 62 года, я с матушкой отправилась навестить наших землячек и дальних родственниц – Татьяну Алексеевну Кочетову и Веру Алексеевну Корецкую, двух родных сестер, родители которых уже давно умерли. Обе сестры владели неразделенным имением в наших краях Смоленской губернии, верстах в шестидесяти от нашего поместья.

В судьбе обеих сестер было много общего: одна за другую они были отданы в Екатерининский институт, обе вышли замуж вскоре после окончания в нем курса и в то время жили вместе. Младшей из них, Вере Алексеевне Корецкой, было двадцать два года: она прожила в замужестве за студентом всего лишь год и овдовела уже два года тому назад. Старшая, Татьяна, вышла замуж восемь лет тому назад, но прожила с мужем года два и по взаимному соглашению разошлась с ним навсегда: он взял какую-то должность на юге и поселился там, оставив на руках жены маленькую дочку Зину.

Знакомые называли обеих сестер «вдовицами», хотя старшая, Татьяна, была, что называется, соломенной вдовой. Обе они были искренно привязаны друг к другу, нанимали сообща одну квартиру и тратили на жизнь средства, не считая, кто из них вносил в хозяйство больше, кто меньше. Единственным поводом к размолвке между ними служило воспитание семилетней Зины, которую обе они горячо любили, но

Вера в свои отношения к племяннице вносила более страстности, точно ревнуя ее к сестре, как будто досадуя на то, что ее права над ребенком менее значительны, чем права родной матери.

Материальные средства сестер были очень скромны: Татьяна раз навсегда отказалась от какого бы то ни было вспомоществования со стороны мужа, мечтая только о том, чтобы он оставил ее в покое. Существовали они на деньги, получаемые со своего имения, а также за уроки музыки и языков, которые обе они давали в частных домах и в одном известном тогда пансионе. Обе они имели огромный круг знакомых: младшая, Вера, по мужу знала множество студентов и молодых девушек, а у старшей были связи в педагогическом и литературном кругах. Они вели деятельный образ жизни: днем были заняты уроками, вечером посещали лекции, вечеринки, и сами принимали у себя гостей два раза в месяц.

Зная мою мать за безукоризненно честную женщину, хорошо изучившую на практике сельское хозяйство, в котором сами они ничего не понимали, они просили ее посещать их имение несколько раз в год, внимательно приглядываться ко всему и сообщать им, как ведет дело их управляющий, не следует ли заменить его другим, нельзя ли поставить их хозяйство так, чтобы оно давало больше дохода. Они предлагали денежное вознаграждение за этот труд, так как он требовал значительной затраты времени, но моя мать просила их об одном: взять меня под свое крылышко, перезнакомить

с их знакомыми, посещать вместе со мною лекции и чтения, на которых они бывали. Она рассказала им, как я тоскую в неподходящей среде, как стремлюсь попасть в круг «новых людей». Сестры не только выразили готовность взять меня под свое покровительство, но даже просили мою мать оставить меня у них на все время нашего пребывания в Петербурге. Но та не согласилась на это, решив, что я буду часто их посещать, если только мы поладим друг с другом, могу и ночевать у них в экстренных случаях.

Отправляясь к сестрам в первый раз, я была на седьмом небе от счастья. Судя по тому, что моя мать рассказывал о них, я решила, что обе они принадлежат к людям молодого поколения.

Сестры были очень похожи друг на друга: обе среднего роста, стройные, с мягкими, вьющимися темно-каштановыми волосами, только Татьяна была гораздо плотнее сестры даже с склонностью к полноте и выглядела старше свои двадцати шести лет. Хотя одета она была в простое, черное шерстяное платье, но оно хорошо сидело на ней и сшито было более изящно, чем у сестры. Волосы ее были зачесаны назад «à la chinoise»⁶ и пышным узлом заколоты сзади; спереди они лежали красивыми волнами, а короткие из них причудливо завивались разнообразными кудряшками. Такие же кудряшки вились и по шее; ее куафюра⁷ говорила об отсутствии

⁶ «в китайском стиле» (*фр.*).

⁷ прическа (от *фр.* coiffure).

щипцов и чего бы то ни было искусственного. С добродушной улыбкою на румяных губах, Таня казалась эффектнее и красивее своей младшей сестры Веры, которая, несмотря на свои двадцать два года, имела вид девочки-подростка: чрезвычайно худенькая, с обстриженными, вьющимися волосами, в очень узком черном платье без какой бы то ни было отделки, которое плотно обхватывало ее удивительно тонкую талию, худенькие плечи и тонкие, как палочки, руки. Ворот лифа заканчивался гладким узеньким белым воротничком, а гладкие узкие рукава – белыми манжетами. Своим нарядом, всею своею худощавою фигурою и строгим выражением детского лица она более всего напоминала послушника при монастыре. Если Таня была более эффектна по внешности, то Вера приковывала внимание интеллигентными, одухотворенными чертами лица, строгим, суровым взглядом своих умных карих глаз.

Сестры встретили нас как самых близких родственниц и произвели на меня очень приятное впечатление, а семилетняя Зина, живая как ртуть, грациозная и с чудными синими глазками в рамке пышных кудрей, привела меня в такой восторг, что, как только я сняла пальто, я схватила ее за руки, и мы начали с нею скакать, бегать и прятаться по углам. Заметив, что моя мать смотрит с восхищением на прелестную девочку, Таня заметила:

– Да... была бы девочка ничего себе, да «строгая» тетушка до гадости избаловала ее... Подумайте, тетя (так называ-

ла она мою мать, а Вера – «крестною»; мы же обеих сестер начали называть по именам и обращались друг к другу на «ты», как они просили об этом): Верка прибежит с урока, не успеет передохнуть и начинает возиться с Зиной, тащит ее в какую-нибудь кузницу или мастерскую, – все это с целью ее умственного развития. Вместо того чтобы освежить свой костюм... посмотрите-ка, ведь он скоро весь разорвется у нее по швам, – она покупает девочке массу игрушек и тоже все это будто для ее умственного развития, а по-моему, только из одного баловства...

– Отчасти я действительно делаю это для ее развития, а отчасти для того, чтобы ей было чем вспомнить детство. Вот у нас с сестрой при воспоминании о нем только мороз по коже подирает: наша мать умерла, когда мы были крошками, а отец заботился только о своей экономке, которая часто без всякого повода колотила нас и на нас же жаловалась отцу, требуя, чтобы он заставлял нас. на коленях просить у нее прощения и целовать ее корявые руки. Нет, нет... Зинка не должна проклинать свое детство... Она будет любить своих матерей! Правда? – И с этими словами Вера притянула к себе племянницу и покрыла ее кудрявую головку страстными поцелуями.

– Так воспитывать, как воспитывали нас, конечно, дико, но и тебе нечего свое баловство прикрывать побуждениями высшего порядка: ты без всяких принципов, просто до безумия, прежде была влюблена в своего мужа, а потеряв его,

всю страсть перенесла на племянницу...

– Пускай будет баловница, только бы не вышла модницею в маму! – возразила Вера.

В эту минуту девочка вырвалась от нее и потащила меня в детскую показывать свои игрушки: «железную дорогу», «школу», «прачечную», «весы» и множество других игрушек, только что получивших название «развивающих», то есть необходимых для умственного развития детей.

– Зинка, говори, как железная дорога движется без лошадок? А как это называется? Зачем это сделано? – спрашивала свою племянницу вошедшая Вера. – А кем ты будешь, когда вырастешь?

– Буду учить бедных деток... Они ничего не знают, а я им все расскажу...

– А теперь говори, кто я?

– Мама Вера, а другая – мама Таня. – Вера часто! задавала этот вопрос племяннице, видимо, для того, чтобы лишний раз услышать из ее уст желанное для нее слово! «мама».

– Как у вас хорошо!.. Все так просто!.. – говорила я, прохаживаясь с Верою по комнатам.

– У нас небольшие недостатки, а если бы и были лишние! деньги, нам стыдно было бы бросать их на такой вздор, как обстановка. Особенно это стыдно теперь, когда народ пухнет от голода!.. Ты только что соскочила с институтской скамейки и, конечно, не знаешь, что по части обстановки, одежды и всяких житейских удобств в молодом поколении уже выра-

ботано два непоколебимых принципа: человек должен иметь только то, без чего он не может обойтись, и постоянно стремиться к тому, чтобы сокращать свои потребности, довести их до минимума, иметь только самое-самое главное, только то, от недостатка чего страдает! организм... Понимаешь, – простотою своей жизни каждый современный человек должен стараться все более напоминать простой народ... Отчасти уже из-за одного этого он! будет доверчивее относиться к нам! Существеннейшая же задача тут в том, чтобы деньги, которые остаются у человека за удовлетворением крайне необходимого для него, употреблять не на барские прихоти, а на нужды народа, и прежде всего на его просвещение.

Меня не шокировал ее взвинченный, поучительный тон: я совсем не знала общества, не имела представления, как разговаривают люди между собою, еще ни с кем не сблизилась, кроме институтских подруг. Вот потому-то я с таким напряженным вниманием старалась вслушиваться во все, что она мне говорила.

Очень многие осуждали молодежь шестидесятых годов за то, что она выражалась искусственно, в приподнятом и высокопарном тоне, уснащала речь прописными истинами. И действительно, этим грешили очень многие. Но ведь шестидесятые годы были необычайною эпохой. И все в ней было необыкновенно: кажется, даже температура крови людей того времени была повышена; вся их жизнь шла ускоренным темпом. Но эти недостатки не помешали весьма и весьма

многим, нередко даже тем, которые выражались особенно фразисто, проникнутыя до глубины души идеалами и принципами этой эпохи. Весьма многие из шестидесятников так усердно работали над своим самообразованием в молодости, что, заняв впоследствии места в учреждениях по крестьянским делам, в гласном суде, в земстве, оказались чрезвычайно полезными деятелями. Из той же молодежи, сильно грешившей в годы юности высокопарным выражением мыслей, вышли люди, отдавшие на служение идеалам шестидесятых годов всю свою жизнь, во имя их приносившие великие жертвы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.